

Меруерт Алонсо 39 лет. Работала журналистом и колумнистом в региональных новостных газетах, писала для глянцевого журнала «Cosmopolitan», «Tatler» и др. С 2018 года пишет и издает собственные книги. Основатель и издатель издательского дома «Write and Publish», куратор писательской лаборатории «Другой текст». Член Евразийской творческой гильдии (Лондон), автор сборника рассказов «Короткое лето Шантеклеры», романа «РФЛ», детской книги «Приключения девочки Клоэ». Живёт в Алматы, Казахстан. Замужем, трое детей.



Меруерт АЛОНСО

(Испания)

РАЗРЕШЕННЫЕ ФОРМЫ ЛЮБВИ

(Фрагмент романа)

БЛОШИНЫЙ ЦИРК

Сегодня

На пятую неделю весна задышала полной грудью на обледенелые, спящие мёртвым сном деревья. Протёрла тусклое солнечное дно, и стало пусть не теплее, но ярче. В комнату сквозь плотные шторы заглянул робкий, засидевшийся на родительских харчах девственник – апрельский луч. В узкой полоске оконного проёма серело брюхо мёртвой крысы мотельного номера. Кажется, луч ошибся и вспрыгнул не туда: комната со стороны улицы выглядела нежилой. Он медленно скользил по мутному холодному стеклу в попытке разглядеть обстановку внутри, когда кто-то невидимый с улицы, сжалившись, впустил его, одернув резким движением две полоски тяжёлой материи. Луч заметался, пойманный на подглядывании, и от неожиданности плашмя упал на деревянный пол. Сверху, не мигая припухшими от сна веками, на него смотрела девушка. Она улыбнулась и распахнула окно. Пучок света малого поперечного размера, тут же увеличившись, бессовестно упал на аккуратно сложенную кровать, выхватив косым глазом стул с армейским водонепроницаемым рюкзаком. И вторым тут же нагрел пустой стакан на прикроватной тумбочке. Луч подумал, что это игра. Из тех, в которые играют гуттаперчевые существа с четырьмя лапами на подошвах с резиновой мягкостью. Он не раз видел, как они гонялись за отражением его братьев в круглых зеркальных поверхностях, и обрадовался, дернулся живым пульсирующим комком. Девушка спряталась за шторой. Припухлость век скрывала под собой резкость глаз, которыми она привычно ощупывала улицу. Луч пружинисто прыгнул с подоконника, заискивающе обхватил лодыжку, белеющую из-под подола шторы. Девушка шевельнулась, вглядываясь в слепую зону, срезанную наискосок световой вывеской «Motel», но не увидев ничего подозрительного, расслабилась.

Луч обрадовался возможности увидеть её целиком и позолотить в благодарности апрельским солнцем. Она двинулась, и он вместе с ней вверх по вытесанному, как из гранита, бедру. Поднялся выше, к сильному животу, застыл – на человеческой коже, кто-то, словно детской рукой, балуясь и играя, нарисовал странное, страшное. Луч отпрыгнул на свободные груди с вишнёвой косточкой на концах, ещё прыжок – и вот уже ямка на ключице. Лечь на плечо и как следует рассмотреть женское лицо, обращённое вниз и немного вбок, пощекотать обнажённые плечи, согреть длинную шею, забраться в ворох волнистых волос и там заснуть, позолотив локоны. Но у девушки были свои планы. В последний раз окинув взглядом безлюдную улицу, она задёрнула шторы. Луч вздрогнул, отрезанный от солнца, не успев свернуться в клубок для обратного прыжка по ту сторону весны. Съёжился и умер. В комнате стало темно. Девушка, бесшумно присев, повела рукой по пустому воздуху. Собрала невидимые остатки солнечного света в ладонь. Подняв руку к лицу, широко раскрыла рот и проглотила содержимое. Тут же на правой, резкой, как акулий плавник, скуле проявилась едва видимая тусклая точка – веснушка.

Тень в одном и том же костюме, месяц скользящая следом, ещё не нашла её. Но она чувствовала сведенными скулами – найдёт. Ощущала затылком рыщущий взгляд, слышала его крыльями носа – от него разило опасностью и уверенностью, она рядом, и помощи ей ждать неоткуда.

Птичка не выходил на связь больше месяца, а она всё продолжала ждать звонка ровно пять минут, как и было написано в инструкции: «Каждую среду в 8:03 в телефонной будке на пересечении улиц Хосе Гонзалеса и Альфальфа».

Бросив взгляд на электронные часы, на которых высветилось 7:15, пошла в крошечную душевую, расположенную рядом с входной дверью – удобно, никто не войдёт в гостиничный номер неслышанным, незамеченным. Резкими продольными движениями ровно три минуты чистила крупные белые зубы. Так учила Нана. «Рыба, hiја¹, гниёт с головы», – говорила Нана. Сначала рот, после остальные части тела. Ополоснула рот, не торопясь – время ещё есть, встала под упругий поток хорошего напора воды, равномерно падавшей из потолка душевой кабины. Вышла, тщательно, сантиметр за сантиметром, прошлась твёрдым сухим полотенцем по натянутому гитарной струной телу. Встала перед запотевшим прямоугольником зеркала. Как следует смочила край полотенца холодной водой, скрутила его в тугий жгут и стала монотонно, отточенными движениями, хлестать подбородок и шею.

«Возраст женщины выдают пожухшие мочки, особенно если в них носить тяжёлые серьги. После – шея, hiја, – говорила Нана. – Сегодня она туго обхватывает гортань, пищевод, трахею, как мясник Педро своих кур перед тем, как свернуть им шею. И ты, громко смеясь, без страха откидываешь голову, выставляя шелковистую нежность, мышечную силу трубопровода. А на следующий день она превратится в игуану. И навсегда повиснет уродливым пустым мешком, и никуда его не спрятать. Хочешь между головой и плечами игуану? – позмеиному, не мигая, шипела она, глядя девочке в глаза. – Нет? Тогда мажь, бей, и снова смазывай».

И Лили послушно увлажняла, изо всех сил запрокинув голову, а после хлестала, ускоряя кровоток, пощипывала и тянула вверх, к потолку – пошла прочь, игуана, прочь, проклятая тварь, ни рыба ни мясо, прыгающая с деревьев в воду. Закончив с шеей, растёрла на поджаром теле плотную массу кокосового масла. Выйдя из ванной, подошла к встроенному в стену шкафу. Прикроватные часы показали, что время пришло. Она в последний раз оглянулась на комнату, в

¹ Hiја (исп.) – дочь.

которой провела месяц. Знала – больше не придётся сюда возвращаться. Поправила рюкзак за спиной и бесшумно вышла, прикрыв за собой деревянную дверь. Где-то внутри, на уровне селезёнки, появилась знакомая дрожь: Птичка позвонит сегодня. И скажет, что нашёл её – женщину под номером десять. Последнюю историю. Птичка искал её особенно долго. Но нашёл. Она знала. Последняя, и всё. Она свободна. Навсегда. Да, Нана? Сжатые челюсти по-волчьи оперились. Пора. Surau.

Глава первая

РОЖДЕНИЕ ЛИЛИТ

24 года назад, Сан-Мигель-де-Пьюра, Перу

Никто не знал, когда именно Косяя Нана родилась в тростниковой хижине на огненной вечнозелёной земле Пьюры. Кто-то говорил, что она жила здесь всегда, до того, как родились боги Солнца и Луны. Нана ухмылялась, многозначительно поглядывая в небо, и на вопросы о возрасте не отвечала. Может, и сама не знала, поди разберись. Своих родителей, как и когда появилась в Пьюре – не помнила. Время стёрлось, выжженное палящим полугодовым зноем, вымылось тропическими нудными дождями. А бумажки с цифрами она не признавала.

От кого именно унаследовала Нана крупное плоское жабье лицо – от мамы или отца, известно разве что богине матки и плодородия Кунирайе. С неё, юрдивой, и спрос. Помимо неправдоподобно плоского лица ей досталась кожа сплошь в рытвинах, кровоточащих кратерах вместо широких пор. Постоянно сочащихся во влажном климате, красных и незаживающих, вывернутых наизнанку по молодости, обросших впоследствии келоидными рубцами бордовых утолщений. Волосы у Наны росли из почкообразного фолликула, ровно из макушки. Растительность на голове больше походила на зародышевый пух – лануго, так никогда и не утолщившийся. Нана смазывала волосы кокосовым маслом от корней до кончиков, не забыв увлажнить кожу черепа и неправдоподобно выпуклый лоб. Он блестел червонным золотом, привлекая внимание новорождённой девочки. Зубы у Наны были, как у взрослой ламы. Редкие желтоватые бруски в красном влажном рту она чистила розовой солью, набранной в холщовый мешок у подножья Марас, и ничем больше.

Нана носила обувь сорок третьего размера, нелепо болтающуюся на подетски худых лодыжках. Нана была очень смешной. Огромная великанья грудь с истончившейся кожей в районе солнечного сплетения жалобно просвечивала синей вязью кровеносных сосудов. Чёрные плоские напёрстки сосков размером с ладонь младенца не вскормили ни одного ребёнка. При ходьбе грудь мешала, и Нана ловко убирала лишнюю тяжесть в подмышечную полость, придавив это телесное растянутое безобразие тугим медицинским поясом.

Левый глаз Наны, наполовину скрытый ленивым спящим веком, смотрел прямо в океан – пока правый, наглый, хищный и опасный, глядевший как бы в сторону банановых полей, выворачивал из тебя душу. Оба глаза, такие разные по функционалу, одинаково оттенялись беличьей опушкой. Люди, хотя бы раз встречавшие эту могучую странную женщину, ещё долго оглядывались вслед: бабы, потрясённые уродством, приснув в кулак, отойдя на безопасное расстояние, спешно крестились, мужики мечтали ею овладеть. Было в ней нечто порочное, неправильное, неприличное. То, от чего лёгкие рабочие мужские штаны из крапивы дыбились, и Нана раз в год на неделю уходила из дома заметно потяжелевшая. После возвращалась, лениво ведя левым глазом, подолгу возилась, потеряв сон. Спустя время возвращалась по-настоящему, громко смеясь, оголяя жёлтые

зубы, до следующего раза. О том, что она уходила вытравить плод, видно было по груди. Каждый год она опускалась всё ниже, пристыженная, пустая, ненужная.

Вернувшись, Нана с удвоенной силой кормила девочку. В маисовые серые лепёшки добавляла ложку перемолотых кошачьих костей: расти такой же живучей, увитой кольцами – девятью жизнями. В мокрые конверты тамале – смесь из толчёной кукурузы, чёрной оливы и жаренной в цилиндрах свинины, обёрнутой в банановые листья, подкладывала сухие лапки пойманных ею кузнечиков – будь прыгучей. Разводила у себя в редких волосах жирных вшей, покорно пережидая зуд и укусы капиллярных паразитов. И когда они тяжелели, вдоволь выпив крови, вдавливала эти серые крапинки в сочную тонкую шкурку манго – знала, что девочка не снимает плёнку узким ножом, а ест целиком. Нана верила: вши созданы природой для этого. Чтобы печень у девочки была чистой, не пускающей ядовитые соки страха перед жизнью.

Когда девочка, уставшая, опьянённая пыльной улицей, голодная, валяясь с ног, возвращалась домой, Нана ждала у порога. Стояла в дверях с тщательно отобранным и заговорённым заранее сырым куриным яйцом. Нана разбивала скорлупу с громким стуком о загоревший, в коричневых цыпочных разводах лоб – девочка, визжа, вырывалась, но женщина добычу держала крепко – пока не стечёт до оголённого, наивно торчащего детского пуза вязкий желток, смывая следы любопытных чужих глаз, плохих мыслей и ядовитых мужских желаний с лица.

Купала её тоже сама. Раз в неделю долго вела прочь от масляных дурных глаз к горной холодной реке перед самым началом дня. Набирала в подол свежей юки, становилась по пояс в воду и мылила, пенила до красноты, тошноты, до скрипа юркие длинные ноги девочки. Чистила самодельной щёткой из подрезанных жёстких китовых усов белозубый, широко раскрытый рот. Не доверяла – рыба, cielo², гниёт с головы. Девочка, запрокинув голову, послушно открывала рот, смазанный по уголкам губ тюленьим жиром, чтобы не треснул, позволяя Нане проводить очистительные работы.

Нана мазала растопленным кокосовым маслом шершавые сбитые локти и колени до тех пор, пока они не сглаживались, выровненные, намятые, словно у месячного младенца. И только после этого мылась сама. Наспех пройдясь по вспотевшей шее белым скользким бруском, похлопывала по лысым подмышкам, морщинистая кожа которых была точь-в-точь как уши слона. Пару раз вела ребром ладоней под тяжёлой грудью. После они возвращались в стонущую от жары Пьюру.

В сельскую местную школу девочка не ходила. «Чему эти человеческие огрызки могут научить свежий подвижный ум? Разве что ненужному послушанию и как закидывать, спрятавшись за серым одноэтажным зданием, рапе», – думала Нана. Местное баловство из собранных трав, рапе, что засовывали трубкой в назальное отверстие, а после ждали дешёвого прихода, чтобы щупать друга потными грязными руками. Нет, не для этого не спит Нана. Ох, не для этого.

Но девочка росла, и Нана всё чаще замечала вопросительный взгляд, обращённый в сторону пёстрой галдящей стайки учеников. С марта по декабрь, на время учебного года, Пьюра замирала, опустошённая от юрких, как степные ящерицы, детей от четырёх до восемнадцати лет. И только её не отпускала от себя ни на шаг Косая Нана: «Иха, ничему хорошему тебя в этой школе не научат, а плохому жизнь успеет». Так и жили.

Когда девочке исполнилось семь лет, Нана за одну ночь собрала нехитрые пожитки в разноцветную прочную ткань и повязала её тугим узлом на спине.

² Cielo (исп.) – небо моё, ласкательное обращение.

Облепила заранее свёрнутыми конвертами тамале живот. Глиняную посуду разбила, разноцветные соломенные коврики, лежаки, кульки с травами, назначение которых знала только она, безжалостно сожгла. Девочка проснулась от пытливого взгляда стоящей над ней женщины. Навьюченная, как ишак, Нана торжественно блестела широким лбом в крупных каплях пота. Девочка молча оделась, и они пошли по сухому выжженному городу в сторону автобусной станции. Передав горсть медаков солей водителю, сели в конец потёртого разбитого автобуса. О том, что они уезжают навсегда, девочка не знала. Спрашивать молчаливую Нану было не принято. Выезжая из города, в котором обе повзрослели, ни одна из них не обернулась.

Добирались долго. Почти пять дней. Плыли на лодке, тряслись на попутной машине по увитым виноградными лозами серпантинам, шли пешком. Снова автобус, разболтанный, точно нутро рожавшей бабы, трясущийся, как желе, ломался в кашле на поворотах, но доехал. Девочку нещадно мутило, в глазах темнело, затылок и лобную долю будто кто-то невидимый взял в терновые тиски и сжимал, не давая выдохнуть. Началась горянка. Лили мелко дрожала, не понимая, откуда взялось в ногах, что не знали усталости, противное чувство потери равновесия. Острые кошачьи глаза, одинаково хорошо видевшие как днём, так и ночью, потеряли резкость. На сетчатку наслаивались силуэты редких людей, низко плывущих облаков и бредущих по высокогорью обросших лам. Выйдя из автобуса и опорожнив в который раз стонущий от рези желудок, она окончательно ослабла. И Нана, как семь лет назад и никогда после, взяла девочку на руки. Так и пришла с ней, полуобморочной, к пристани. Ни разу не остановилась, чтобы поправить спадающую сумку за спиной.

Девочка проснулась. Природное любопытство взяло верх над физическим телом – мимо сновали краснощёкие круглолицые дети, тараша узкие слезящиеся глаза. Было непривычно холодно и ветрено. К пристани привязаны жёлтые, словно связанные из шкуры альпаки, маленькие лодки. Нана привезла девочку в Пуно. К берегу озера Титикака. Здесь жил учитель – индеец из племени Урос, который посеял в лоне Наны двенадцать семян, но так и не смог собрать урожай. К нему и ехала все эти дни Нана. За семенами. Не жидкими, солёными, а другими, из твёрдых цифр и букв. Для Лили. Расспросив, где найти учителя, Нана вернулась к девочке. И они вместе пошли искать свободную лодку. Индеец по имени Птичка учил детей в школе на одном из ста сорока островов, сплетённых из тростника тотора, расположенных на поверхности озера.

Три года провела на оловянном озере Лили. Научилась собирать сухой тростник, рубить его и укладывать, строя дома. Нижний слой тотора, постепенно набухая, тонул, и сверху на него укладывался новый, и так снова и снова, пока не начинал пружинить напоенный холодной свинцовой водой плавающий дом. Индеец, которому косая Нана без слов вручила серым утром бледную незнакомую девочку, сначала нехотя, лениво, возвращая легкомысленно выплеснутый долг, учил её быговому: стрелять из лука в чаек, ловить рыб точным броском заточенного остря из сухого тростника, одним движением сворачивать шею фламинго. Но, видя, как быстро адаптируется смышлённый заморыш к высокогорному пронизывающему ветру, как без усталости следует за ним по пятам, заглядывая в растянутый сухой рот, ловя каждое слово, решил научить всему, что знал сам. А знал он немало. Будил среди ночи и вытаскивал сонную девочку из хижины. Чтобы бесшумно плыть, навалившись всем телом на длинную палку-весло, и после долго идти, натянув по брови вязаную высокую шапку чульо. По холодной ночной траве до древнего кладбища предков – колыбели жизни и смерти – горе Сильюстани. Там, у подножья Сильюстани, он рассказывал, как зарождались предки – могучие боги-люди, гонимые всеми ветрами. Как строили

«чульпы» – могилы в виде башни, в сырой глубине которых до поры до времени чутко дремали узкоглазые гордые потомки речных людей под присмотром Копакати – богини рек и озер, охраняющей чульпы у водной глади.

В ночной звенящей тишине, усыпанные звёздами-веснушками, они вошли в первую чульпу, вылепленную много веков назад в виде женской матки. Индеец учил девочку в непроглядной сырой темноте ловить ящериц – часами сидеть неподвижно, не дыша, чтобы осмелели, забыли о вторжении длиннохвостые – и ловить. Чем больше хвостов добудет к первому солнечному лучу девочка, тем больше жизнью проживёт. До самого утра, пока Часка (богиня рассвета и заката) не откроет свои заспанные глаза, девочка сидела, не шелохнувшись, не дышала, угадывая нутром, в какой части могилы ящерицы замерли серые ящерицы. Девочка собрала десять хвостов, и учитель был за неё спокоен.

Птичка научил Лили безошибочно находить в крошечной тьме забытые тропинки инков. Вдоль них, нехоженных, нетронутых тяжёлыми ботсами бестолковых, ничего не видящих туристов, извивались змейкой тысячи дорог и росли правильные травы. Найти и аккуратно срезать головку мукуры – она защитит от сглаза и проклятий. А также посеет семена в пустоцвете матки, если Кунирайя, лунный бог беременности, остался глух к твоим мольбам. А если её правильно высушить и растолчённые лепестки сжевать, то ни одна живая душа не устоит перед тобой – так сильна мукура в желании опьянить, завладеть телом и душой. Навсегда, на веки вечные. Индеец учил различать среди тысячи трав нужную – «пири пири», или клоповник майена, заставляя девочку дважды в день жевать сырой корнеплод, повышающий выносливость, пробуждая в крови древнюю воинственную силу предков, не боящихся ни Солнца, ни Луны.

Помимо сбора травяных растений, математики и письма, Птичка учил девочку языкам ветра, шипению рек, слышать тишину гор. Он водил её к открытой вечными льдами горе, внутри которой бежали тонкие артерии – золото. Оно было надёжно скрыто от жадных человеческих глаз, и чтобы его увидеть и найти, девочка поливала камни раскалённой ртутью, и она шипела, сворачиваясь, не желая соприкоснуться с мёртвой материей, но после сдавалась – липла к дрожащим золотым каналам, спрятанным в недрах. Проклятый дед ни словом не обмолвился об отравляющей силе ртути. Вокруг неё безмолвно застыли люди, не нашедшие выхода. Она затылком, стёртыми локтями и кровоточащими коленями, обмотанными нежными листьями бананов, чуяла, как смотрят и смеются. И громко смеялась в ответ, не пропуская свернувшийся улиткой горький липкий страх – ха! Но для того, чтобы найти, надо сначала подняться на высоту пять тысяч шестьсот метров над уровнем невиданных морей, правильно дышать, не заглатывая редкий разреженный воздух, не проталкивая его шершавыми ледяными кусками в сжавшиеся от испуга лёгкие, а дышать тихо, словно ты в заброшенной могиле охотишься на неправдоподобных юрких ящериц, которые каждым спинным позвонком знают, зачем ты пришла. А после долго ползти, не оглядываясь и не останавливаясь ни на минуту. Чернильно-чёрный узкий тоннель внезапно размножился, делился на рукава, горловину, двенадцатиперстную кишку. Лили наугад двигала плечами и проталкивала себя вперёд локтями, имея пару секунд на то, чтобы звериным чутьём не угадать, а узнать, в какой поворот вползти и не застрять навсегда в каменном воротнике горных недр. Но не зря, не зря Птичка водил её три года по ночной заснеженной степи – ищи тропу. Весной, под проливным злым дождём, который бил свинцовой дробью, норовя смыть с лица земли – ищи тропу. Жарким ненавистным летом идти на ощупь среди беспощадных сонных змей, притворявшихся ковылём – ищи! И она нашла.

Птичка ждал снаружи пять часов. И когда она неожиданно вышла с другой стороны пещеры, не пятясь по-собачьи, а на своих двух, сердце, этот странный

сильный мускул, впервые в жизни дрогнул и жалобно заскулил – не его могучее семя бежит по венам этой странной девочки с прищуренным смеющимся взглядом, за пазухой которой, привязанный к подмышкам, болтался мешок с кусками чистого золота. Ишь ты, нашла тропу!

Через неделю старик пришёл к её дому. Впервые постучал и, не дождавшись приглашения, вошёл торжественно нарядный, в новой яркой вязаной чульо. На ногах штаны, сверху пончо. Нана тягостно вздохнула, поняла, что закончилась странная жизнь у учителя, проводника и курандеро с её девочкой. Молча стала толочь жёлтые бобы, варить желе из чичи – фиолетовой кукурузы, собираться в дорогу.

Учитель отвёл девочку к священной реке Майо, туда, откуда вышли его предки и боги. Велел раздеться, тщательно помыться и набрать в рот речной воды. «Выплёвывать и глотать воду нельзя, – предупредил он. – Ты вода, внутри тебя вода, ты из неё вышла и в неё однажды превратишься». Девочка долго плевалась, не стесняясь присутствия мужчины. Привыкла безоговорочно доверять. Знала, что неспроста. Высушила тело и потянулась было к своему тюку, но учитель уже держал в руках белоснежную, из тончайшей шерсти новорождённой альпаки тунику. В ней и пошла, гадая, что же будет дальше. Вдруг это ритуал, и он хочет стать её первым мужчиной? Она была не против, знала, что так бывает. Но во взгляде мужчины не было слащавой грубости, которыми провожали мужчины Косую Нану.

Они шли почти час, но не обратно, к островам и Нане, а в сторону. Смеркалось. Высокий синий купол неба растворялся на глазах в незаконченную серость без горизонта. Они пришли к саманному домику, на пороге которого сидела молодая женщина. Девочка не сразу узнала Нану. Не говоря ни слова, вошли. Внутри горел огонь, над которым висел котёл с кипящей водой. Дом пропах мышами и травами. Птичка жестом указал девочке поднять тунику и оголить живот. Привыкшая к причудам наставника, с которым до этого учения проводились без присутствия Наны, она вопросительно посмотрела на женщину – та в ответ коротко кивнула, раздевайся, и рукой махнула на лежанку. Девочка легла. Нана стояла к ней спиной и, кажется, впервые плакала. Индеец нечто невнятное буркнул под нос и кинул на стол маленький предмет – заточенный акулий зуб. Нана долго не решалась взять его в руки, вода в это время громко выкипала в котле. Девочка, уставшая за день, прикрыла глаза, и старик кивнул – пора.

Нана подошла к ставшей за десять лет роднее собственной крови девочке. Которую она подобрала давно, кажется, в прошлой жизни, зарыв двенадцатый, собственноручно похороненный плод, холодея от ужаса перед карой от Матери Земли – Пача Мамы. Которую воспитала. Не высыпаясь и не доедая. И вот сейчас, когда все долги выплачены и замолены, она, она, Нана, должна вспороть нежный, спящий спокойным сном, миллиарды раз целованный ею живот. Нана долго плакала, спрятав косой глаз, рябую дырявую кожу лица в большие ладони – не могла. Но на улице призывно завыл ветер, заколыхалась земля, новорождённый, с ноготь младенца, месяц болезненно прорывался сквозь околуплодные воды облаков – пора. И она полоснула. Девочка за секунду до того, как порвалась крепкая, как рыболовные сети, кожа живота, открыла глаза – поняла. И дальше лежала молча, сжимая изо всех сил створки век, чтобы не просочилась ядовитая солёная влага. Не стекла по лицу, убежав за мочки ушей, намочив длинные светлые волосы, которые Нана, любимая Нана, утром и вечером тщательно зачёсывала в две плотные косы.

А потом всё закончилось. Нана, могучая Косая Нана, враз лишившись сил, рухнула на земляной пол и никогда больше не встала. Учитель опустил белоснежное мягкое платье на девичий кровоточащий, кричащий от ужаса исполосованный живот. Растянутая по краям ткань тут же приклеилась к огромной, от

первых рёбер до лобка, ране. Через микросекунду проявился знакомый ленивый глаз. Он смотрел прямо. Затем правый – ближе к почке, вглядываясь в невидимое, за спину. Следом скривила рот нетронутая раковина пупка – точь-в-точь Нана, собравшая куриной попкой бледные губы на очередную шалость девочки. Последним проявился широкий лоб. Он выступал из-под рёбер, обрастая на глазах жидким волосяным покровом, обвивающим внутренние органы девочки, спрятанные под истерзанной кожей. Лицо демона Supay, Тени, которая будет тебя защищать.

Супай, твоя Тень, бог смерти и демонов, правитель подземного мира Уку Пача от матери дочери, от дочери матери: «В ночь, когда в твой сон проберётся плохой и заскулит свободный ветер за окном – с тобой Супай.

В день, когда споткнётся Лилит, усомнившись в себе – с тобой Супай. В год, когда потухнет огонь в очаге, оскудеет вода в Урубамбе, дрогнет рука, ослабеют глаза, остынет Солнце, заалееет Луна – укради одежду врага, Лилит. Сними с него обувь. Найди деревянную палку. Дай ей имя. Оплои и обезглавь».

– Сууупай, суупааай, – шептало нечто невидимое в мокрый от слёз треугольник уха девочки.

– Сууупай, – шелестела за спиной ночь, и девочка провалилась в сон.

S U P A Y.

Глава вторая

УВИДИМСЯ В...

В комнате, несмотря на августовскую тяжёлую чугунную жару, наглухо закрыты форточки и окна.

Комната просторная, от свежей побелки отдаёт холодной синевой. Во всю стену шкаф из светлого дерева. Его внутренности забиты тугими рядами книг вповалку и друг на дружке. Перевязаны бечёвкой рулоны, карты. У окна стоит стол. Перед ним стул, на спинке которого раковой неожиданной опухолью висит тёплый шерстяной плед. От взгляда на него на лбу и висках появляется душная болезненная испарина.

Напротив шкафа диван. На нём сидит женщина, которой одинаково может быть как тридцать два, так и пятьдесят восемь лет. В её глазах поздняя осень.

– Расскажите, почему именно гляциология? Если честно, об этой профессии узнала, готовясь к интервью с вами. Вы же понимаете, что таких, как я, тысячи. – Женщина смеётся в ответ. – Поделитесь с нашими читателями вашей историей. Включаю диктофон.

– Да что тут рассказывать? – поджимает сухие, увядшие, но ещё крупные губы собеседница.

– Ну как, что? Вы же женщина – хранительница очага, в ваших руках дом, горячий обед на столе, тёплая постель, дети, в конце концов! А вместо всего этого вы половину жизни отдали изучению ледников. Вдали от дома, друзей, семьи. Я бы так не смогла!

– Вы, дорогая моя, никогда не знаете, чего бы смогли и чего нет. И никто не знает, пока время не придёт. Хотя оно никогда не приходит. Время это проклятое, оно только и делает, что уходит. А мы всё ждём, ждём послушно, что придёт. Дураки.

Молчим.

– Так почему вы стали гляциологом? Это семейное? Вы откуда родом? Представьте, пожалуйста. Запись пошла.

– Меня зовут Лейла. Я родилась в городе Хива, Узбекской ССР. Слышали о таком? Красивый город. Пыльный, живой, горячий. Мои родители держа-

ли женскую баню в Ичан-Кала. Прямо за первой внутренней стеной, рядом с колодцем, который, по преданию, выкопал потомок Ноя. Да, да, тот самый – каждой твари по паре. Кирпичные жёлтые стены кольцами держат внутреннейности Хивы, чтобы не развалилась, грешная. Вот за этими стенами у моих стариков была женская баня.

Мы, хивинцы, привыкли ходить в баню ранним утром. Пока с неба не укатилась, спрятавшись в песках Гоби, дрожащая луна. Приятно, знаете ли, встречать день блестящим, как начищенный медяк. Я привыкла к труду, мы же по-другому росли. Весело, что ли, дружно. В маленьких городах только так. Мать говорила, что руки у меня от рождения умные, живые, в отличие от моей старшей сестры. У неё руки сильные, выносливые. С сестрой у нас пять лет разницы, в её обязанности входило смотреть за печью, большая такая, прям под комнатой для женщин-пустоцветок находилась.

– Пустоцветок?

– Ну, комната такая, с двумя дверьми в каменных стенах, в однуходишь, бросаешь монету в таз, ныряешь в темноту, а после из другой выходишь садами в город, чтобы не видел никто ту несчастную с пустой маткой.

Камни для этой комнаты прадед из Самарканда на себе привёз. Бабка говорила, что та, кто на них, распаренная, раскаявшись, полежит в ночь, когда полумесяц с младенческий ноготок уродился, через три луны забеременеет. Так к нам вся махалля мыться бегала. Весёлое было время, мылишь-мылишь, не разгибаясь, жёсткой тряпкой спины, бабы орут, охают, сначала стесняются, а после груди задирают – пройдишь там тоже. Гул стоял, как на базаре. Грохот эмалированных тазиков, крики, ругань, саму себя не слышишь, но вот сплетни ночные, оброненные вполголоса в душный от трав и масел воздух, к обеду разносились далеко за пределы Ичан-Калы. Бабы друг дружку по выскобленным лысым лобкам проверяли – если блестит, натёртый маслом, с вытравленными шёлковой нитью жёсткими волосами, значит, или муж уехал на заработки, или влюбилась.

А в комнате пустоцветок тишина. Они лежат, уткнувшись лицами в раскалённый каменный пол, режут, скулят, терпят колючий жар, который должен отогреть, оживить молчащее нутро. И так каждый день. Я мылила спины и подмышки, сестра топила печь, чтобы там, наверху, невидимый могущественный кто-то сжалился наконец над нами, женщинами. По ночам сбегали в пустыню. Лепёшку с кунжутными чёрными семечками за пояс, и бежать, бежать туда, где небо накидывается, заливая с головы до ног звёздами величиной с трёхлитровую банку. И мы лежим уставшие, счастливые, ждём, когда небесную чернильную брюшную синеву вспорет, прошьёт насквозь шальная сорвавшаяся звезда. Самая первая – её дольше всего ждешь, а дальше рикошетом одна за другой, и так до утра.

– Загадывали желанья?

– А как же. О мороженом мечтала и о любви настоящей, ха! Нас однажды мать в Бухару вывезла, хоронили, не помню, кого-то важного. Я там попробовала эскимо. Как сейчас помню обжэгшую нёбо ледяную сладость. У меня аж в затылке стрельнуло, думала, умираю, схватилась за голову – больно, но сладко, разве так бывает?

Это я потом поняла, что бывает, только сладость от этой боли с каждым разом всё горше.

Отец умер, когда мне было десять. Сестре пятнадцать, замуж давно пора, а она не идёт. Привязалась к мамкиной юбке, убьюсь, говорит, не пойду. Так никогда и не смогла. Ушли из этого странного мира с разницей в девять месяцев, так и не разрешили родовой засохший *funiculus umbilicalis* – пуповину. Вы знали, что средняя длина пуповины – пятьдесят-семьдесят сантиметров? Чем

больше ребёнок совершает внутриутробных движений, тем длиннее становится пуповина. Зачем такая длинная? Чтобы ребёнок в материнской утробе мог двигаться, резвиться, кувыркаясь и пиная, пока мать насыщает его кровью, кислородом и питательными веществами. Когда ребёнок рождается, пуповину зажимают клеммами и перерезают. Но, видите, как бывает: даже если пуповину перерезать, навсегда отделив мать от ребёнка в первую минуту жизни, гарантии того, что они впоследствии смогут отдельно существовать друг без друга, никто не даст.

– А с мамой какие у вас отношения?

– Какие у меня отношения с матерью? Нормальные. Нет-нет, закрадывается мысль, что на меня у неё сил и любви не хватило. Но в целом мы были дружны.

После школы я уехала в Ташкент поступать на геолога. Не поступила с первого раза, пошла на вечернее отделение, днём работала в Пельменной № 1, у Госпитального рынка. Там местные актёры театра сутками кормились. Сыто жила, по ночам училась, привыкала к городу. Хива и Ташкент двухтысячных, несмотря на то, что города одной страны, разные очень. Я вот рыжая, высокая, а ташкентцы другие. Важные, что ли. Мокются перед сном в узких ваннах, чтобы лучше спалось. А то, что наутро немойтой воблой протухшей пахнут в метро – ничего.

На втором курсе встретила его.

Весна выдалась особенно дождливой. Арыки, переполненные водой, шипели по-змеиному, заливая асфальт. Я тогда уже была обручена. Точнее, обещана. Надёжному, круглолицему, смешному и доброму. Мы собирались пожениться тем летом, а пока я жила в квартире двоюродной тётки, клеила обои, делала ремонт. Тихо жила, послушно. Любить того парня не любила, это сейчас любви в ноги кланяются, превозносят, а раньше как: кормит, поит, не бьёт – хорошо. В общем, как у всех.

Решили у меня с девочками собраться перед летними экзаменами, молодые же, хочется. Ташкентские студентки ничем от моющих в хивинской бане сплетниц не отличаются. В двухкомнатную тёткину квартиру набилось столько народа, вспомнить страшно. И среди всей этой незнакомой толпы он. Красивый, выше меня на две головы, на Збруева в молодости похож. Рядом с ним, в районе подмышек бело-русый придаток – девушка. Вина принёс, раскомандовался: «Курить, – говорит, – на балконе будем». Я, некурящая, подчинилась. Он в то время учился на филологическом. Нагло пользуясь тем, что кто-то из знакомых работает на радио, весело прокричал: «Хозяйка, заказывай музыку!» Я сначала стеснялась: «Не надо», – говорю. А он: «Заказывай, чего смотришь? Всё сделаю». И делал. Всю ночь по радио «мои» песни ставили. Я ему через стол кричала название, он смешно кого-то просил в висящий на стене домашний телефон, а через несколько минут играла, понимаете, играла «моя» музыка.

К трём ночи все разошлись. Меняхватило на то, чтобы открыть настежь окна и рухнуть в постель. Под утро разбудил стук в дверь. Открываю – он. «Забыл что?» Он, ухмыляясь: «Ага, тебя». Зашёл, не спрашивая. Разулся, руки помыл, я стою красная, злая, наглости такой не видевшая ещё, не привыкшая. Он молча зашёл в комнату, ту самую, в которой сплю на матрасе я (к кроватям так и не привыкла после хивинских топчанов в саду), и лёг. А я тоже не пальцем деланная, спрашиваю: «Где придаток свой мышиный забыл-то? Бабу свою бело-брысую. Ей-то есть где спать? Чай не лето». Молчит. Постояв в дверях, гашу свет, ложусь рядом, нарочито толкая в бок – знай своё место. Так и заснули. Мать, наверное, со стыда все эти годы сгорает. Когда там, на Вечном суде встретимся? С того дня началась моя ледяная смерть.

В школе по физике нам про гравитацию очень просто объясняли. Дословно не вспомню, но суть в том, что вблизи крупных объектов время течёт медленнее.

Я тогда своим детским мозгом гравитацию, как лёгкое платье к лету, примеряла. Помните, как раньше летнее время медленно шло? С двадцать пятого мая и навсегда тянется эта жара, в которой запятыми, многоточием: сирень, яблоки, вишня, персики, груши, хурма, дыни и арбузы, и под конец, когда уже совсем отчаялся, вырос, вытянулся вдоль и поперёк – грецкие орехи и жирной точкой пыльный серый гранат и чёрный паслён.

Встретив его, поняла, что ни лето, ни небо, ни физичка в очках не знают ничего о сладости, притяжении, тяжести, плотности. Рядом с ним слова, взгляды обретали физический вес, становились живыми важными. И время не имело никакого значения, его попросту не было для нас. Сколько мы были вместе? Год, два, всю жизнь? Не помню. Помню то, что дни и ночи слились в одно сложносочиненное предложение, где вместо предлогов, тире, суффиксов – мы. И вопросительным, восклицательным знаками тоже были мы. Когда он брал меня за руку, это простое и привычное действие, совершаемое неосознанно миллионы раз с самого раннего детства и до последнего дня, выворачивалось наизнанку, приобретая другой смысл. Я шла рядом, касаясь рукавом его руки, манжетом, плечом, кончиками пальцев, кожей, под которой лавой горит и сворачивается кровь, и понимала, зачем мне, оказывается, Бог дал руки. Не спины мылить, не тесто катать, детей нянчить, а для того, чтобы он брал меня за руку.

Была у него забава – вырвать меня в полночь из тёплых, прогретых нашими телами простыней, чтобы завязать глаза посреди моста, аккуратно напротив железнодорожного вокзала. Оставить оглохшую, напуганную в нервной артерии города, там, где круглый год сигналят и орут, гремят тележками, утирают заплаканные лица рукавами, шумно матерятся и снуют туда-сюда привокзальные, не знающие холода проститутки. «Иди, – говорил, – на мой голос». И я шла. Так, наверное, во время войны солдаты по минному полю следом за генералами и воеводами шли. На верную смерть. Он мог водить меня, спотыкающуюся, с завязанными глазами по ночному городу до утра, пока не заплачу, не взвою, не попрошу пощады, не уверю в него до конца. Пару раз чуть машина в подворотнях не сбила.

Вам знакомо чувство надвигающейся беды? В детстве эта тревога с приходом ночи ощущалась. Когда мозгами понимаешь, что за саманной стеной степные мыши роются, а страх уже поразил роговицу глаза, отравил слух, и кажется, что по твою никому не нужную душу пришли.

Зачем он это делал? Говорил, так надо было. Сердце, дескать, сегодня любит, а завтра обманется. А глаза, руки, уши, нос запомнят, услышат важное. Даже если на тебя машина из-за угла на большой скорости едет, и ты слышишь, как сигналят не по асфальту, а по печени, там, где страх соки пускает, тормозной горячий путь вырисовывается, и не мечешься, стоишь, ждёшь, когда он перекричит этот ужас, – умирать-то не хочется, «Направо!» И ты отпрыгиваешь, ещё минуту назад мёртвая, обессиленная, и хохочешь: «Верю тебе, видишь? Ничего не боюсь, пока ведёшь меня голосом».

Он говорил, что о мои скулы и ключицы можно резать вены. Делил моё тело на шкалы, сантиметры. В висок целует – значит, любит. Ниже ключиц – любит. А если я в его футболке жарю твёрдый серый хлеб, обмакнув, смягчив сухие края его во взбитом яичном желтке, то это – пошлость. И тогда он поднимал меня на руки, бросал на кровать и входил рывком, одним точным движением. Насаживал на крючок, приманив ладонями вместо хлебного мякиша и червей. А я ещё долго барахталась, спрашивала, навсегда ли это, и что будет с рыбой, которая решит сорваться с железного крючка, вдоволь полакомившись наживкой. Кто полюбит её, несчастную, с искаженным от страсти лицом? Одетую в чужую, полинялую, ставшую второй кожей одежду?

За поворотом приглушённо гудели улицы Циолковского и Лумумбы. Кажется, был февраль. Мы бесконечно ходили по пустым кварталам и спорили о том, какие именно звуки издают чугунные батареи, готовясь к завершению отопительного сезона, если, к примеру, живёте на пятом и у вас ведущий стояк. Он смеялся и говорил, что мне не будет холодно до тех пор, пока интерес будет. «К чему?» – смеялась я в ответ. А он молча обнимал.

Замечали, если вам холодно, память услужливо выталкивает на поверхность всё то, что связано с теплом? Грубость шерстяных вязаных носок, отцовских мохеровых шарфов? Мясной наваристый бульон с озерками жира на поверхности. Первый смазанный неумелый поцелуй. Точнее, предвкушение его. Сам поцелуй ценности не имеет и зачастую несёт больше разочарований, чем приятностей. Но само ожидание, помните, как волнительно думать о том, кто будет первым? Горячая чашка чая. Физическая тяжесть солнечных лучей, когда спёкся на пляже. Тепло, не правда ли? А мне холодно. Перестала чувствовать. С тех пор, как двадцать лет назад в июле он, взяв рюкзак и собаку, ушёл попрощаться с горами. Говорит: «Ляль, постой здесь, я на часок схожу, надо мне. Ты посиди, запомни глазищами своими, где мы, не вернёмся же сюда никогда». И сдержал обещание – не вернулся. Собака пришла, рюкзак жители деревни нашли, а он не пришёл. Мы с ещё нерождённой дочерью до вечера прождали, два автобуса пропустили. После полторы недели его с альпинистами искали. Не нашли. Зачем ледники, спрашиваете, изучаю?

Его, наверное, жду. Или ищу. Хотя это в моём случае уже давно одно и то же. Какой чудовищно холодный август выдался, никак не согреюсь.

Как дочь зовут? Разве её имя для вашей работы обязательно? Нет? Ну и славно. Впишите так: у него есть дочь, без имени. Он про неё так и не узнал, не успела сказать. А потом уже поздно, – Лейла махнула рукой и снова уставилась в окно, высматривая того, кого когда-то потеряла.

Глава третья

ВСЁ УЖЕ БЫЛО, ТОЛЬКО НАС НЕ БЫЛО

Водитель молча высадил меня на пригородной станции, дежурно пожелав хорошего дня. Мог бы и не желать, знаю, день будет хорош. Кивнув в ответ, подошла к аппарату, продающему билеты на поезд. Через входные стеклянные двери видно натёртое до блеска окно и синий рукав униформы кассира. Войти сегодня в зал и с улыбкой попросить билет в один конец до города не смогу. Он непременно захочет узнать, на какое время пробить обратный и что происходит за пределами стеклянной будки, в которой сидит с шести утра до девяти вечера вот уже почти сорок лет. На несколько лет больше, чем прожила я. Нет, не сегодня.

До приезда поезда осталось десять минут. Платформа № 2 постепенно заполняется людьми. Прикрываюсь солнечными, в широкой оправе очками и внимательно разглядываю ни о чём не подозревающих тут и там стоя прислонившихся к стене или небрежно сидящих на металлической лавочке людей. Они читают книги, энергично кивают в телефон головой, поджав рот, жадно курят, разгоняя сизое облако, и, извиняясь, улыбаются тем, кто вынужден вдыхать более четырёх тысяч химических соединений просто потому, что оказались рядом. Вспомнилось, как в сотый раз пыталась бросить курить и читала о том, что в себе несёт зажжённая сигарета. Так, навскидку: оксид углерода, диоксид, цианистый водород, аммоний, изопрен, сероводород, ацетон, синильную кислоту...

Некстати всплыл в голове прочитанный факт: оксид углерода – это газ без цвета и запаха, способность которого соединяться с гемоглобином в двести раз

выше, чем у кислорода. Последнее до сих пор поражает больше всего. Тогда, читая, осознала, почему внезапно стала настолько зависима от этой злой горечи на языке, запаха подгнившей, придавленной на дне газетного кулька вишни в волосах на утро. Переспелая вишня особенно распускала цвет и соки в ванной комнате, распаренной от выкрученного до упора крана с горячей водой. Просто эта ядовитая, смертельная, сладкая, как запретный поцелуй, дрянь соединялась с кровью в двести раз быстрее и эффективнее, чем воздух, которым я дышала.

Напротив встала бесовестно молодая девушка. Чёрный круглый горох раскинулся по белому короткому подолу, осел на едва проклюнувшейся груди, краями убежал за воротник. На плечах небрежно накинута кожаная куртка. На сгибе локтя висит поникший верблюжий горб – рюкзак. Она чересчур часто, совсем как я в юности, достаёт из него складное зеркало с потёртой краской на крышке. Достаёт не затем, чтобы подправить подушечкой безымянного пальца поехавшую по контуру красную не по возрасту помаду, а чтобы лишний раз убедиться – смерть как хороша. Не поверив отражению, зло хлопает крышкой, чтобы через минуту потянуться обратно. Убедилась – всё ещё хороша. Так бывает в пятнадцать лет и ни годом позже. Но она этого ещё не знает.

Поодаль от юной красотки стоит мужчина. Интересно, а ему навскидку сколько лет? Вроде тянет на тридцать четыре. А, нет, вот подходит женщина, и он будто становится ниже ростом. Наверное, жена.

Громкоговоритель механическим, лишенным интонаций голосом объявил о прибытии поезда: «Будьте осторожны, поезд приближается. Выход на платформу № 2 с правой стороны. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Следующий поезд прибывает согласно расписанию».

В вагоне оказались свободные места, и я сажусь у окна, чтобы видеть автомобильную трассу. Её ещё не видно за каменной стеной платформы. Но я знаю: как только мягко, словно на кошачьих лапах, тронется поезд, за окном лениво расплзется изумрудная рябь из ив, сосен, тополей. И в них спустя несколько минут блеснёт на солнце серебристый акулий плавник машины. Он будет двигаться наравне с поездом, изредка пропадая и появляясь в чреве густой листвы. Улыбаюсь. Встречает.

Летающая на окна вагона зелень местами настолько непроходима, что поневоле чувствуешь себя Иной, попавшим в брюхо кита, во влажной молчаливой темноте которого розовым напуганным язычком, извиваясь, дрожит высокий и острый иван-чай. Или – хозяйкой Медной горы, которой вдруг ни за что достался весь этот малахит. И уверуешь, и покоришься. Потому что невозможно не верить, когда так. Ещё в институте читала и не поверила тому, что восемьдесят процентов кислорода на планету подаёт океан. Не леса и луга под предводительством деревьев-великанов, а мелкие водоросли, фитопланктоны, что растут и разлагаются где-то там, на дне морей и океанов, которые я не видела, но дышу благодаря им.

За мутным двойным стеклом вагонного окна в последний раз стальным лезвием ножа промелькнула серебристая машина. Поезд поехал прямо по направлению к ребристому капюшону вывески – конечная. Машина свернула налево, уйдя на объездную дорогу, ведущую в город. Не страшно. Знаю, что через пятнадцать минут мы снова будем вместе.

Выхожу на станции и достаю билет. Дожидаюсь своей очереди и, не глядя, сую картонку в прорезь – трёхногий турникет послушно открылся. Привокзальный поток выносит направо, к главному входу. Чуть помедлив, пережидая, когда схлынет людская разноцветная толпа. Свернув налево в туалет, тщательно мою руки и долго протираю жёсткой сероватой бумагой. А после захожу в кабинку, чтобы вынуть из внутренней стороны кружевного белья ежедневную про-

кладку. Помню, что он первым делом просунет руку в джинсы, резким движением потянув вверх к пушку нижнее бельё. Я охну от неожиданности и от того, как сладко стрельнёт в промежности вмиг намокшая, признавшая хозяйскую властную руку плоть. Он ещё немного подержит меня на весу, на цыпочках за натянутые до треска трусы, вглядываясь в моё отворачивающееся лицо. И, развернувшись, пойдёт первым. Никогда не знаю, куда он сегодня приведёт. Может, в старую швейную фабрику, переделанную в отель, из которой мы выйдем на следующий день полуживыми. А может, на блошинный рынок. В ряды полок, стеллажей, вешалок с одеждой, пыльными книгами, посудой и глиняными цветочными горшками, вдетыми друг в друга для экономии пространства.

Может повести обедать. Может свернуть в парк. А может долго плутать по узким улицам, чтобы нырнуть в дверную неприметную щель, где с невозмутимым лицом будет ждать цирюльник из Бангладеша. Кивнув «подожди», сядет в обшарпанное кожаное кресло и замрёт на несколько минут с прижатым к лицу смоченным в кипятке полотенцем, распаривая кожу перед тем, как чернобородый пожилой мужчина в белоснежной чалме встанет у него за спиной, и он доверчиво подставит, запрокинув голову, шею. И я увижу дёрнувшееся беззащитное адамово яблочко, вишнёвую острую косточку которого так сладко обсасывать, когда он лежит, свесив голову с края кровати. И пока молчаливый цирюльник заточенным плоским острием водит по подбородку, щекам, горлу, наливаюсь соком. Знаю, зачем привёл. Зачем заставляет смотреть. Чтобы после, нырнув в меня с головой, целовать, вылизывать, обсасывать нежную, на один тон темнее кожу, спрятанную от посторонних глаз, не оставляя видимых следов.

Иногда он китобой

Который долго плывет на шхуне, чтобы резким броском швырнуть прямоком в гладкую, как у гренландских китов, спину гарпун. Знал, что я медленно плаваю. Подойдя сзади, выжидает, когда начну буксовать, переминаясь с места на место, ведя голыми плечами в ожидании нападения. Заранее понимаю, что живой сегодня не выйду. Разберёт на щепки. Раскромсает на щётку из китового уса, высосет инсулин из плоти. И когда я расхристанной поломанной кучей взмолюсь о пощаде, войдёт гарпунной пушкой. Безжалостно терзая нетронутую до него за ненадобностью узкую дырочку. Разделявая на части, не дождавшись береговой линии. Гарпунный наконечник бьёт без промаха, крепко цепляясь, вгрызаясь в набухшее, сочащееся мясо, твёрдо стоя на напряжённых ногах, неся на конце разрывной смертельный заряд. От которого темнеет в глазах и в горле застревает крик. Сладкий, умоляющий выйти повторно в море как можно скорее. Обещающий стать серым китом, кашалотом, финвалом, горбачом, быстроходным полосатиком, лишь бы приплыл ещё раз моряк-убийца, смеющийся китобой с заточенным и готовым к смертельной охоте копьём.

Иногда он морская оса. *Chironex fleckeri*

Пальцы-щупальца покрыты нематоцитами – стрекательными клетками. Содержащими самый сильный яд на Земле. Ожоги которого смертельны. Поэтому что без них никак.

Морскую осу ищешь, внезапно проснувшись посреди ночи в нагретой кровати. Напуганный муторным, вязким сном, выбраться из которого стоило больших трудов. Чтобы проснуться и понять – самый страшный кошмар здесь, у изголовья кровати, в глубине стёганого одеяла, в отсутствии его рук-щупалец. Ищешь на самом шумном дне рождения, когда все выпили и делают вид, что безмерно веселы, а сами украдкой поглядывают на часы, и, наверняка, уже звали такси.

Морская оса практически прозрачна. Понимаешь, что попалась, когда тебя уже обвил невидимый купол из четырёх пучков, в котором по пятнадцать щупалец. Почувяв, что жертва где-то рядом, щупальца истончаются. Становясь невидимыми, вытягиваются в крепкие нити до трёх метров длиной, обвивая тебя в два плотных круга, покрывая тело крепкой сетью без центральной нервной системы. Без рубильника, который по желанию можно, громко щёлкнув, выключить. Вытащить из оскаленного страстью рта горсть пальцев. Прокусить, в конце концов. Они везде. Секунду назад они, намотав на щупальце-кулак длинные волосы, пытались с тебя снять скальп, а вот они уже сжимают средним и большим пальцами правой руки набухшую раздраженную горошину...

Иногда чёрная змея

Мамба, без усталости атакующая по двенадцать раз за ночь. С каждым нападением ускоряющая темп и увеличивающая временные отрезки. По блеску его оливковых, налитых октябрьской дождевой водой глаз понимаешь, что последний, двенадцатый раз может не закончиться никогда.

А после сразу, как только зарозовеет новорождённое слепое небо – тайпан.

Большой, агрессивный, нападающий исключительно днём. Самый опасный, поймав у метро, в машине, узкой фото-будке, тут же кидается так, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры. Спазмы в сердечной мышце.

Он – пиранья

Обгладывающая ушные раковины, шепчущая туда бесстыдства. Кусающая за виски в пойманную в удачно расставленные силки синюю вену, обцеловывающая дрожащие веки – под ними закатились без сил одуревшие глазные яблоки. Он – пиранья, грызущая разбухшие соски, которые готовы пролиться несуществующими в них молочными водами, столько голода и настоящего любовпытства в языке за выступающими острыми плоскими зубами. Пиранья, сосущая пальцы рук, ног, подушечки которых трутся о ребристую поверхность нёба, как о небесную лестницу, на конце которой одуревший, ничего не понимающий, постаревший апостол Пётр застыл со связкой ненужных ключей от врат Рая, в которые они без стука ворвались.

Город трещит вдоль и поперёк от разговоров уставших за рабочую неделю людей. Фыркает, но понимает резкие гудки клаксонов такси, замерших перед наивностью влюблённых, прощая им перебежки на красный цвет. Им ещё предстоит узнать, что после красного, пылкого, будет осторожный, предупреждающе жёлтый, который сменится принятием – зелёным. Казалось бы, иди, вот твой цвет. А некуда. Я пришла пораньше, чтобы занять место у окна. Дважды звонил муж, сказал, что скучает.

Вагон пуст. За стеклом застыла сплошная зелёная стена из ив, сосен и тополей, которая ждёт механической команды из громкоговорителя, чтобы найти и поймать ухмыляющийся дерзкий розовый язычок иван-чая. Который через несколько минут безжалостно разрежет пополам серебристый акулий плавник машинного крыла – провозжает.

Журнал публикует фрагмент романа. Книгу Меруерт Алонсо «Разрешенные формы любви» можно приобрести на маркетплейсах, а также в магазинах «Меломан», «Книжный город», «Korkem store».
